ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Герой еще не родился,
но кое-что для этого делается

В длинном двухэтажном и двухподъездном бревенчатом бараке — по подъезду с каждого конца — самым неприятным для его жильцов явлением была сырость. Перила лестниц, ведущих на второй этаж, были осклизлыми, и пахло в подъездах догнивающим деревом. Сырость тут была и естественная, происходившая от того, что целый квартал таких бараков был выстроен на засыпанном и заболотившемся пруду, и рукотворная (точнее, конечно, не руко-), связанная с тем, что как вовсе посторонние люди и жильцы соседних бараков, так и местные обитатели постоянно мочились — чтобы не сказать ссали — в этих подъездах, пользуясь тьмою. И ведь тут же, в двух шагах, стояли дощатые дворовые сортиры!.. Однако запах гнили перекрывал даже запах мочи.

Сырость и гниение проникали в коридоры первого и второго этажей, достигали общих кухонь — по одной на этаже в противоположных подъездам торцах,

так что все кухни граничили между собой по вертикали и горизонтали — и, конечно, комнат, расположенных по обе стороны коридоров. Каждая комната была метров двенадцать, а то и четырнадцать квадратных, почти по санитарной норме на одну не очень большую семью. А три больших — Звонаревы, Когаиы и Зигнатулины, человек по семь-восемь, — занимали даже по две комнаты. Правда, Звонаревы в разных подъездах, что было неудобно в смысле пользования кухнями.

А сыро было всюду одинаково, и когда зимой топили печи, комнаты заполнял вонючий туман, когда же печи остывали, этот туман, прежде чем рассеяться, делался очень холодным и выпадал дополнительной сыростью. Печи были большие, тяжелые, как боровы, которых держали в сарае напротив барака куркули Юрасовы. Топить эти свиноподобные печи приходилось из коридора, а бока их выпирали в две смежные комнаты. В коридоре перед дверцами печей к полу были прибиты железные листы для предотвращения пожара и стояли ведра с мелким, полным мусора углем. Запасы угля хранились в длинном сарае, стоявшем напротив барака и представлявшем как бы уменьшенное отражение самого барака: сарай был разделен на отсеки, соответствующие барачным комнатам. В этих отсеках, каждый в своем, жильцы и держали уголь, купленный осенью на железнодорожной станции и привезенный на ломовых телегах, которые вокруг станции тогда еще водились. Вместе с углем, ссыпанным в дощатые выгородки, держали в сарае — «в сараях», как говорили сами владельцы — всякую мелочь. Там были, например, спинки от железных кро-

ватей, панцирные сетки которых полностью разрушились, никому уже не нужные самовары с медалями, оставшиеся от иных времен, и прочая ерунда, а упомянутые Юрасовы еще и свиней держали.

Из сараев почему-то ничего не воровали, хотя белье, вывешенное для просушки на веревках, натянутых между этими сараями и бараком, тащили регулярно и нагло, прямо днем. Вор бежал, а за ним безуспешно гналась хозяйка, и так до самого трамвайного круга, где преступник, успевший сунуть простыни за пазуху, что ли, спокойно прыгал в уходящий, гремя и кренясь на повороте, 5-й трамвай, а ограбленная женщина садилась на землю, чтобы отдышаться и поплакать...

Что до угля, который покупали на паях хозяева соседних, одной печью отапливаемых комнат и держали в коридоре, в ведрах, то его друг у друга не воровали никогда и ни под каким видом. Не из сентиментальных соображений барачной солидарности, следует признать, а потому, что пойманный был бы непременно и жестоко, при полном всеобщем одобрении, наказан.

Жизнь в бараке была вся пропитана гнилой сыростью, и все чувства людей, населявших барак, были пропитаны сыростью и неприятно отдавали гнилью, даже самые чистые.

Утром просыпались рано, потому что многим надо было ехать на работу в центр, двумя трамваями. По коридору носились, налетая друг на друга и иногда обливаясь кипятком, женщины и мужчины.

Некто с кастрюлей позавчерашнего перлового супа, перекипяченного от несвежести, — из кухни.

Навстречу тоже некто с никелированной мисочкой, полной сбритой щетины в мыльной пене.

С ночным горшком, прикрытым картонкой, дама в халате из трофейного китайского шелка и в мужниных галошах — наружу, в один из четырех двухдверных сортиров, обрамлявших сараи.

Навстречу из сортира, в байковой нижней рубахе-гейше, брюках-бриджах из синей диагонали с высоким корсажем и в обрезанных валенках на босу ногу, — хмурый мужчина, не здороваясь.

Опять из кухни некто, с эмалированным чайником, которого дожидается в комнате кобальтовый с золотом заварочный, с некомплектной белой крышкой взамен давно разбитой родной и с уже насыпанным грузинским чаем «экстра».

И наконец, худой мальчишка в толстых лыжных шароварах и майке с тонкими бретелями, молча удирающий от крысы, вылезшей из-за чьего-то стола на кухне, под привычный женский визг и при вялой, формальной реакции оказавшихся поблизости мужчин.

В это раннее утреннее время никаких проявлений чувств, кроме раздражения вплоть до ненависти, не возникало.

Поесть быстро остывающего супу.

Запить чаем кусок серого хлеба с маргарином «Бутербродным».

Натянуть шинель без погон, или довоенное, мохнатого драпа пальто с большими накладными карманами, или черную, с красным выцветшим отливом, с обитыми до белой мездры обшлагами шубку из кролика «подкотик».

И бегом на трамвай, на подножку, с постепенным просачиванием в надышанное нутро.

Какие ж тут могли быть чувства, кроме желания, чтобы все сдохли!

А чувства, в основном любовные, возникали ночью, в неуклонно остывающем к рассвету — по мере прогорания печей — воздухе. Сырой холод и непобедимый инстинкт подталкивали людей, и без того тесно спавших на полуторных кроватях или просто на тюфяках, на полу, плотнее друг к другу. Тут и начиналась любовь, негромкая в связи с наличием в комнате других членов семьи, детей и стариков, и ввиду существования за фанерно-штукатурными перегородками соседей. Полузадушенная теснотой любовь, не только без звуков, но и почти без движений, короткая и неумелая любовь.

Что ж могло от нее получиться? Тоже ничего хорошего — рахит, диатез, диспепсия, пеленки поперек всей комнаты и дополнительный кислый запах.

Кузнецовы поселились в бараке очень удачно: комната их была на втором этаже, примерно посередине коридора. Так что и от входных дверей меньше дуло, и из кухни не очень воняло. С другой стороны, Кузнецову Григорию Семеновичу по его должности и полагалась неплохая жилплощадь — после демобилизации он почти сразу вышел на работу ведущим конструктором проекта (номенклатура главка) в режимном учреждении «почтовый ящик 2013». Так что удобную комнату всего на троих — самого Григория Семеновича, его жену Елену и мать жены Веру Петровну Воскресенскую — ему дали вполне заслуженно и даже с перспективой расширения и улучшения

по линии удобств. Поскольку министерство уже строило для ценных специалистов хороший семиэтажный дом с газом и горячей водой, в котором чуть ли не половина квартир планировалась односемейных...

А пока что Кузнецовы жили втроем с Верой Петровной в сырой комнате, и все чувства их, как и чувства соседей, были отравлены гнилью и сыростью. При этом супруги, насколько было возможно, любили друг друга в дневное время — душевно, без прикосновений. И отношения между Григорием Семеновичем и его тещей оставались на удивление хорошими.

Плохо же было то, что Гриша и Лена Кузнецовы никак не могли предаться страстной, ночной части любви в полное свое удовольствие.

Чтобы предаться, им приходилось, во-первых, ждать, когда уснет Вера Петровна. А пожилая женщина, даже выпив из сочувствия к дочке и зятю брома и валериановой настойки, засыпала долго и некрепко. Вдруг просыпалась и принималась негромко стонать, а то и вовсе вытаскивала из-под своей узкой дощатой кровати, называемой ею «кушетка», горшок и присаживалась, стараясь из деликатности журчать негромко.

Потом, когда милая старушка успокаивалась, начиналась тайная, беззвучная работа: надо было стащить на пол матрац с простыней и стеганым ватноатласным одеялом в пододеяльнике. Потому что, останься Кузнецовы на кровати, железная ее сетка гремела бы при малейшем движении так, что не только теща, но и весь барак проснулся бы и слушал, как

Григорий Семенович, ведущий конструктор, предается любви и страсти к жене. Была, во-вторых, и еще одна трудность: на полу, свободном от мебели, матрац не помещался. Супружеская полуторная кровать с шариками на гнутых спинках; плюс тещина одинарная за шаткой наследственной ширмой; плюс гардероб с тускло мерцающим в темноте зеркалом; плюс высокий резной буфет с цветными стеклышками; плюс раздвижной круглый стол под низко свешивавшейся плюшевой скатертью; плюс стулья с некогда плетеными, а теперь фанерными крашеными сиденьями; плюс узкая этажерка с техническими книгами Григория Семеновича и романами Теодора Драйзера; плюс сундук с выпуклой крышкой, всегда находившийся при Вере Петровне; плюс рогатая вешалка... В общем, совершенно не было места.

Так что матрац примерно до половины длины подсовывался под стол, и верхние части супругов, до пояса, находились во время удовлетворения половых желаний под обеденным столом обычной вышины, отделенные от нижних частей тел низко свисавшей скатертью.

Тогда многие, очень многие выполняли супружеские обязанности и осуществляли права на полу, отчего бытовали, во-первых, шутка про половые отношения и, во-вторых, частые заболевания по женской линии. Вы только представьте себе небольшую высоту обеденного стола, соседство других жильцов барака и еще более близкое соседство немолодой родственницы, сквозняк из-под двери и вообще все положение любовной пары! Движения мужчины были ограничены столом, эмоции женщины — соседством, а в ре-

зультате — если Гриша еще кое-как достигал счастья, то Лена — никогда. Утром она не разговаривала с мужем и матерью, иногда — несмотря на неплохой, в общем, характер и приличное воспитание — вступала на кухне в конфликты с соседками. А днем, оставшись дома, так как ей, закончившей семилетку, порядочной работы Григорий Семенович найти не смог, да и в деньгах они не очень нуждались, тихо плакала, отвернувшись от матери и глядя в запотевшее окно поверх грязноватой, посыпанной красными блестками ваты между рамами. Ее мучили обида на жизнь и тянущая боль внизу живота. Ей казалось, что гниль и сырость от пола проникли в нее, потому и счастья нет, и низ живота тянет.

Так оно и шло.

Впрочем, у некоторых было еще хуже. Допустим, они жили не только с тещей, свекром или теткой — которую к тому же надо было прятать от участкового, поскольку у нее прописка была воронежская, — а с уже родившимся от предшествовавшей любви ребенком может, десяти, а может, и пятнадцати лет. Или с двумя. И тут уж стаскивай матрац на пол, не стаскивай — а любви конец. Потому что подросток обязательно будет не спать, а ждать и слушать...

Но у Кузнецовых ребенка никак не получалось, хотя Григорию Семеновичу было уже тридцать один, а Лене двадцать восемь, они состояли в браке четыре года и очень хотели ребенка.

В конце концов Лена постучала в четвертую от их собственной дверь, к Коганам. За дверью Мария (Мириам-Малка) Яковлевна (Янкелевна) Коган, врач-гинеколог, в вечернее время незаконно принимала пациен-

ток с болезнями по женским и просто попавших в житейские неприятности. А поскольку иногда из комнаты Коганов доносились крики, заглушенные косынкой, перетягивавшей рот оперируемой даме, а на кухне сохли не до конца отстиранные от розового оттенка простынки, то Мария Яковлевна поддерживала с соседями очень мирные отношения. И, в частности, соседских дам принимала без всякой очереди и — ну, кроме тех, кто сам давал из благодарности — совершенно бесплатно.

Когда Мария Яковлевна работала, все огромное семейство Коганов во главе с ее мужем Петром Романовичем (Пинхасом Рувимовичем), тоже врачом, но ухогорлоносом, отправлялось в кино возле метро, тратя на билеты едва ли не десятую часть денег, которые зарабатывала за это время труженица Мириам. «Индийскую гробницу» Коганы видели четырнадцать раз, а «Багдадского вора» и все двадцать, в том числе раза три без практической необходимости.

Мария Яковлевна внимательно осмотрела Лену, ввиду отсутствия специального кресла положившую ноги на спинки двух стульев, а туловищем уместившуюся поперек детской кровати двух младших Коганов, так что докторше пришлось стать на колени на пол...

После осмотра женщины сели за стол, на краю которого лежали зеркало и расширитель, а посередине стоял электрический никелированный чайник. От него тянулся вверх провод, заканчивающийся устройством «жулик», включенным в патрон верхней лампочки, так что расход электричества не учитывался счетчиком.

Хозяйка, несмотря на категорические протесты Лены, налила в две чашки чаю и впихнула в рот гостье волнистую плиточку трехслойного мармелада, посыпанную сахарными крупинками.

— Что я могу сказать, деточка, — сказала Мария Яковлевна, — даже не знаю, как вам сказать, только вы не расстраивайтесь и не стесняйтесь, я же врач, поэтому должна сказать... У вас загиб, вы не огорчайтесь, но что есть, то есть, и что ж я вас буду обманывать, что все в порядке, когда это не так?

Лена, конечно, тут же заплакала, потому что она, во-первых, не знала, что такое загиб, и, во-вторых, в последнее время постоянно плакала даже без всякой причины.

— Ну, что вы сразу рыдаете, когда даже не знаете зачем? — шепотом закричала Мария Яковлевна. — Что, я вам сказала, что у вас что-нибудь вообще нехорошее? Нет, не сказала. Еще никто не умер от загиба, и вы, я вас уверяю, не умрете. Знаете, что я вам скажу?

Тут она сделала паузу, дожидаясь, пока Лена вытирала лицо подолом фланелевого халатика, и продолжила совсем уже тихо, хотя и до этого шептала. При этом она перешла на «ты».

— Я тебе так скажу... эти бедные женщины, которые иногда приходят ко мне... ну, ты же знаешь... так любая поменялась бы с тобой, чтобы уже быть спокойной... тут не хочешь, а, пожалуйста, каждый год...

И Мария Яковлевна вовсе замолчала, сама расстроившись.

— А что такое загиб? — Лена говорила еще тише, чем докторша, да и голос у нее сел от слез, и можно было только догадаться, что она спросила.

Мария Яковлевна ногтем, коротко и аккуратно обрезанным, стала чертить на плюшевой скатерти, приговаривая: «Тут так... а тут так, понимаешь... и оно не проходит в тебя... поэтому не беременеешь, понятно, да?..» Лена внимательно смотрела на сразу же исчезающий рисунок на плюше и думала, что у Коганов точно такая скатерть, как та, под которой они каждую ночь задыхаются с Гришей, только та бордовая, а эта синяя...

Тут Мария Яковлевна произнесла такие слова, от которых Лена очнулась и, покраснев еще больше, хотя она и до этого была вся багровая, переспросила.

— Коленно-локтевая, — сказала Мария Яковлевна, — такое медицинское название, а простые люди говорят... ну да, раком! А что ты стесняешься, я не понимаю? Ты же взрослая женщина и хочешь родить, так что стесняться, а? Если стесняться, то детей вообще не будет... Можно с самого начала так, а можешь лежать нормально, а потом... когда Гриша уже кончит, перевернуться на живот... Так что ты молчишь и переживаешь? Что тут такого страшного я тебе говорю?

— Как Грише сказать? — прошептала Лена. — Я стесняюсь ему сказать... мы никогда не говорим там... ну, на полу... мама спит, и вообще... он строгий, ему не понравится слово... и вообще... так стоять стыдно...

Мария Яковлевна вздохнула и ничего на это не ответила. Некоторое время она молча пила чай

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля»

№ - 20933 - 1

и думала о том, как этой бедной девочке выйти из положения. Хотя Мария Яковлевна Коган была опытным гинекологом, она сама немного стеснялась давать такие рекомендации, а от слова «раком» покраснела не меньше пациентки, только под пудрой — она, как рыжеватая брюнетка, пользовалась «Красной Москвой» темного телесного цвета — было не видно.

Тут, чтобы не возникло недоумения, надо сообщить, что шел тысяча девятьсот сорок девятый год. И люди очень многого стеснялись, не говоря уж о том, что боялись почти всего. В сумме же получалось, что каждое слово надо было произносить, сильно подумав. Вот, например, порекомендует врач-еврейка коленно-локтевую позу для половых сношений пациентке, страдающей загибом шейки матки, но желающей забеременеть. А пациентка возьмет да и напишет в горздрав, что врач Коган М.Я. по заданию сионистского подполья пропагандирует буржуазную половую распущенность, не говоря уж о запрещенных абортах, производимых на дому частным образом. В общем, мало того, что Мария Яковлевна и сама, если бы пришлось, не знала бы, как сказать такое Петру Романовичу, и мучилась бы от стыда, — она еще и просто боялась этой Лены...

Не в первую после этой врачебной консультации ночь, но Лена все же решилась произнести неприличное слово. Она прошептала его на ухо Григорию Семеновичу так тихо, что он ничего не расслышал и переспросил. Тогда бедная молодая женщина произнесла этот ужас почти в полный голос, отчего ее мать заворочалась, скрипя своей дощатой «кушеткой». Но

Гриша уже потерял от изумления контроль над собой и тоже довольно громко принялся расспрашивать Лену, а та стала пересказывать объяснения Марии Яковлевны, и они так бубнили, что Вера Петровна встала и загремела горшком. Тут супруги Кузнецовы замерли, притихли, а вскоре, перенервничав, просто уснули на полу без всякого толку и еле проснулись перед самым рассветом, чтобы успеть переложить постель на кровать.

Однако уже на следующую ночь Григорий Семенович, осознав ситуацию в целом, проявил инициативу. Напрягая довольно крепкие, такие, которые называют жилистыми, руки, он, не без труда, помог жене принять достаточную и необходимую с медицинской точки зрения позу. Некоторое время мостился, сгорбившись, сам, наконец все получилось, и он, к собственному удивлению, испытал не испытанное никогда прежде удовольствие. Единственное, что омрачило его новое счастье, — удар затылком об изнанку стола, которая стала ближе в связи с новым способом любви. Впрочем, впоследствии Григорий Семенович был осторожней.

И вот дни нездоровья у Лены задержались на неделю, месяц — сделалось все ясно. Марии Яковлевне купили флакон ее любимой «Красной Москвы» и стали ждать.

Хорошо, что успела Мария Яковлевна со своим советом, а то ведь могла и не успеть — через недолгое время после того, как Лена забеременела, сначала куда-то девался Петр Романович Коган, не вернулся после смены из поликлиники, а вскоре и все Коганы из барака съехали.

Глава вторая

Дальнейшая биография пенсионера в воспоминаниях по ходу автобуса № 254

Прошло семьдесят с небольшим лет после этого...

Тут возникает некоторый провал во времени, откуда-то взялись лишние годы, около шести, или, наоборот, куда-то пропали те же шесть лет... Ну, мы, когда придет срок, это объясним как сможем. В соответствии с нашей склонностью к мистике и невнятности.

А пока, будем считать, прошло семьдесят с небольшим лет,

и Сергей Григорьевич Кузнецов ехал в пригородном автобусе

и, по обыкновению, то дремал, то думал.

Как почти все люди, передвигающиеся в общественном транспорте, Кузнецов С.Г. думал о прошлом. Только молодые люди в транспорте, заткнув уши музыкальными пробками, думают о вчерашнем — где и с кем, чего и сколько; люди среднего возраста — о том же самом, но пяти- или десятилетней давности; а старики — тоже, следует признать, о всякой чепухе, но далекой, давно прошедшей, поскольку ничего вчерашнего они не помнят, а пять или даже десять лет назад их жизнь была точно такой же, как сегодня, потому что последние годы промелькнули очень быстро.

Сергей Григорьевич Кузнецов был именно стариком, ему шел, как говорится, восьмой десяток. Сам он не любил это выражение — «пошел восьмой десяток», ему слышалась в этом какая-то фальшивая бодрость, в то время как восьмой десяток никакой бодростью не сопровождается, и нечего дурачиться.

Быть семидесяти-с-лишним-летним стариком, доложу я вам, господа, — это совсем невеселое занятие. В основном оно состоит в болезнях и безрезультатном, но очень дорогом лечении.

Но в остающееся от болезней и лечения время делаются и некоторые другие дела, в принципе ничем не отличающиеся от тех, какими занимался Сергей Григорьевич всю жизнь. То есть он и раньше сидел за письменным столом, подперев скулу ладонью, будто собирался сделать портрет в провинциальной фотографии, смотрел прямо перед собой и прикидывал, как бы покороче — длинно писать не хотелось — изложить на бумаге то, о чем он в данную минуту думает. Вернее, не на бумаге, поскольку Сергей Григорьевич Кузнецов был продвинутым (и даже знал это слово) стариком и в последние двадцать лет писал на компьютере.

Вообще-то он имел степень доктора технических наук и звание профессора, около тысячи опубликованных статей в научных журналах, включая иностранные по всему миру, и одиннадцать книг (две в соавторстве), из которых одна была утверждена министерством как основной учебник для технических вузов. Это был учебник сопротивления материалов.

И теперь, уже через десять лет после того, как торжественно, в актовом зале, вручая цветы, которые он всегда не любил, и ненужные нелепые подарки, коллектив поздравил его с достижением пенсионного возраста, он все еще числился профессором все того же института, который теперь по-дурацки назывался университетом. И не только числился, но и читал три лекции в неделю — в понедельник две и в четверг од-

ну, всегда участвовал в заседаниях кафедры и ежегодно публиковал одну, а то и две статьи в академическом сборнике.

Из вышеизложенного следует, что коллеги профессора Кузнецова отличались гуманностью и способностью к состраданию, а потому не поперли его немедленно после шестидесяти взашей, чтобы тут же освободить и в мгновение ока занять — ну, займет самый резвый, это жизнь — профессорскую ставку. Возможно, такая мягкость нравов объяснялась тем, что никому уже не была нужна профессорская ставка, сделавшаяся в эти годы вполне нищенской. А те самые резвые, которые в прежние времена за профессорство на части друг друга порвали бы, теперь покинули родину, одновременно открывшую границы и разлюбившую профессоров, — и они ее разлюбили, любовь бывает только взаимной, а прочее все не более, чем романтические фантазии. Впрочем, некоторые и не пересекая границ хорошо устроились в этой, но уже другой стране, где профессура почти перевелась, зато пошли в рост, как грибы в сырое лето, нефтяные трейдеры, девелоперы по части элитного строительства, ритейлеры и держатели блокирующего пакета акций. Навыки научного, аналитического, логического мышления очень пригодились в ходе залоговых аукционов.

А пришедшие все же в науку профессора из новых были неприлично молоды. Настолько молоды, что один из них в теплое время приходил на заседания кафедры в шортах с большими карманами и смущал преподавательский состав голыми, тонкими и очень волосатыми ногами. При этом, следует отдать должное, был серь-

езным ученым, членом нескольких иностранных академий и почетным профессором Кембриджа. Походил бы он в своем Кембридже без штанов!..

В общем, Сергея Григорьевича Кузнецова никто не тронул — впрочем, вполне возможно, не только потому, что никому он не мешал, но и из реального сочувствия, симпатии к невредному старику. Нельзя исключить и привычное почтение к опыту, стажу и вкладу в науку о материалах и их сопротивлении.

Вот и сейчас, так как был понедельник, профессор Кузнецов ехал в автобусе из города в ближний пригород, где располагался его знаменитый институт, чтобы прочитать две лекции по сопромату — для двух потоков второго курса. А по четвергам он читал основы теории упругости для третьего курса, на котором набрался только один поток.

В институте, который Кузнецов решительно отказывался называть университетом, Сергей Григорьевич провел почти всю свою уже довольно долгую жизнь. Ну, конечно, за исключением того ее предварительного скрытого периода, который потому и описан в первой главе, что сам герой описать бы его не смог. И еще, пожалуй, за исключением раннего детства в том же бараке, но детство это, с крысиным страшным писком в коридоре, со смрадно дымящими печами, в одном-единственном, перешиваемом и надставляемом, лыжном костюме и всегда разваливающихся ботинках, сам профессор вспоминать не любил. Да оно и прошло быстро — когда ему было шесть лет и он собирался пойти осенью в школу, все изменилось: во время купания в реке, протекавшей позади бараков метрах в двухстах, утонул его отец,

Григорий Семенович Кузнецов, ведущий конструктор проекта, работавший на предприятии «почтовый ящик 2013». Пошел окунуться жарким июльским воскресеньем, когда на берегу народу полно и услышат все, если закричать «спасите!», да и плавал он хорошо, и речка в этом месте мелкая... Но утонул, исчез, а к вечеру, когда хватились, то и одежды на берегу не нашли, а в кармане летних брюк были паспорт и деньги, почти вся зарплата, в пятницу выдали. Видно, украли одежду...

Приходили из милиции несколько человек, потом еще какой-то человек в светлом костюме из сурового полотна пришел и долго с Еленой Кузнецовой, уже вдовою Кузнецова Г.С., беседовал, а Серегу послали гулять. Он было пристроился подслушивать в коридоре у двери, но получил поджопник от кого-то из проходивших соседей — «не лезь во взрослые дела»...

А через полтора года, когда Сергей уже закончил первый класс, мать его Елена вышла замуж за Николая Ивановича Сенина, который тоже работал на предприятии п/я 2013 и при жизни Григория Кузнецова очень с ним дружил. Теперь он, старый холостяк сорока лет, женился на Елене Кузнецовой, и люди его одобрили — взял за себя семью друга. Все вместе, но уже без бабушки, поселились как раз в том доме для специалистов, квартиры в котором не дождался Григорий Семенович, а тут дом в конце концов сдали к Седьмому ноября и выделили в нем двухкомнатную тов. Сенину Н.И. с семьей, учитывая также факт многолетней работы покойного мужа Елены Сениной тов. Кузнецова Г.С. на предприятии.

Так что Сергею можно было бы жить в свое удовольствие в отдельной комнате, а в другой, с балконом, жили мать и Сенин, который разрешил называть его дядей Колей и только при чужих — папой.

Однако несколько происшествий привели к тому, что детство Сергея Кузнецова кончилось бесповоротно. Во-первых, Сенин дал ему свою фамилию «Сенин», под которой — скажем, забежав вперед, — Сергей и дожил до восемнадцати лет. При этом Сергей продолжал дома называть отчима дядей Колей, а при посторонних людях старался не называть никак. Во-вторых, Елена месяца примерно через два после того, как вышла замуж за Николая Сенина, заметно растолстела, а еще через три месяца родила Сергею братика Игоря. Братик ночи напролет жалобно плакал на руках то матери, то отца, ходивших по диагонали своей большой комнаты, слегка потрясывая Игоря и иногда, задремав на ходу, натыкаясь на стол или стул. На полу валялись скомканные до утренней стирки вымазанные желто-зеленым пеленки, а по всей квартире ужасно пахло. Кончилось это тем, что однажды Елена застала Сергея стоящим у кроватки Игоря с молотком в руке. Игорь как раз заснул, а Сергей смотрел на спящего брата задумчиво и сжимал рукоятку молотка так крепко, что мать едва вырвала у него этот опасный инструмент. В-третьих, буквально через неделю после вышеописанного ужасного случая — о котором мужу Елена, разумеется, не сказала — весь класс Сергея повели в районную поликлинику на флюорографию, обнаружившую у него порядочные затемнения в обоих легких. Сергею Сенину, 8 лет (полных), немедленно дали направ-

ление в лесную школу для больных туберкулезом и ослабленных детей. Вечером Лена с мужем решали, отправлять ли Сережку туда, где если у него сейчас, может, и нет туберкулеза, то он обязательно заразится. Было много аргументов за и против, против был Сенин, а мать Сергея была решительно за. И когда другого ничего не оставалось, она совсем понизила голос и рассказала про молоток.

Все время семейного совета Сергей, по давней дурной привычке, подслушивал, только теперь, вычитав в какой-то книге про этот прием, прислонялся к стене из сухой штукатурки не просто ухом, а тайно взятым на кухне стаканом, так что слышал все до последнего слова. А потом, когда мать заговорила совсем еле слышно, он просто догадался, о чем речь. Он решил войти к ним и сказать, что он сам хочет в лесную школу, но тут Сенин произнес одно слово, от которого Сергей буквально вздрогнул, так что даже стакан чуть не выронил.

«Сбежал, — сказал Сенин, — Гришка сбежал, и у этого характер... скрытный, весь в него... он из этой школы даст деру — не найдем...»

Происходило это обсуждение вечером, так что вскоре прервалось и все легли спать — ну, если не спать, то лежа думать, вставать и пить воду из чайника, перепеленывать Игоря, шептаться, смотреть в окно, где светился совет насчет сберегательных касс...

Сергей для своих лет был довольно сведущим в проблемах и коллизиях взрослой жизни — барак даром не прошел — и потому без труда понял, о чем сказал Сенин. Во всяком случае, понял, что отец его, Григорий Семенович Кузнецов, не утонул в реке, где

воробью по колено, а сбежал от них с матерью. В бараке Сергей часто слышал в разговорах взрослых, особенно женщин, такие слова, как «бросил», «ушел к шалаве», «в семье не живет», и, как ему казалось, понимал их смысл. Например, глава семьи Юрасовых, которые свиней в сараях держали, — старый дядька лет сорока, а то и больше, с бритой наголо головой в шрамах и толстым деревянным поленом вместо левой ноги до колена, зимой ходивший в полушубке поверх нижней грязной рубахи, а летом в той же рубахе, выпущенной поверх штанов, — три года назад ушел к шалаве.

Этому предшествовали его странные и даже страшные действия.

Однажды вечером старый Юрасов пришел пьяный, что было совершенно обычно и происходило ежевечерне. Но на этот раз он пришел не один, а с незнакомым дядькой тоже в полушубке. Оба, немного покачиваясь и оступаясь, сразу прошли к сараям, где Юрасов с трудом, отставив деревяшку в сторону, встал на колени и поцеловал свиней в морды, а потом поднялся и пошел в дом. От сараёв же немедленно раздался страшный визг на весь двор, а спустя десять минут дядька уже вышел со двора и исчез неизвестно куда, как и полагается убийце. В самом по себе убийстве свиней не было ничего особенного, их убивали каждый год и заводили новых поросят, а свинину продавали на рынке. Предварительно мясо разделывали на общей кухне, куда в этот день Зигнатулины и Когаты не заходили, а потом, ночью, младшие Зигнатулины мыли всю кухню горячей водой с едко пахнущим хозяйственным мылом. Но на этот раз все было не-

нормально и страшно: и то, что Юрасов стоял в навозе на коленях, целуя свиные морды, и незнакомый мужик, и неправильное время убийства, и то, что мясо не начали тут же разделывать топором и большими ножами. Юрасов же, громче обычного стуча деревяшкой, вошел в свою комнату, откуда немедленно раздался крик еще более отчаянный, чем перед этим от сараёв. Через пять минут Юрасов вышел, держа в руке небольшой солдатский мешок, с которым когда-то пришел с войны, и пошел к дверям, ведущим из коридора во двор. Жена его, Надька Юрасова, сильнее растрепанная, чем всегда, и в одной рубахе на голое желтоватое тело, бежала следом и кричала не понять чего. Юрасов, не отвечая, вышел во двор, доковылял до угла барака, оттуда громко сказал «я еще пожить хочу!», как будто его убивали, и скрылся навсегда. А Надька распродала на рынке свинину, сохраненную в том же сарае на больших кусках льда в соломе, устроилась на работу в вохру института, который стоял за кирпичным забором, отделявшим его от парка, и стала одна кормить двоих младших, а старшего, Вовку, отдала в ремесленное. В бараке все женщины говорили, что Юрасов, подлюга, ушел к шалаве, а мужчины не говорили ничего, только сильнее хмурились.

Вспоминая этот уход к шалаве и визжавших свиней, Сергей отвлекся от слов Сенина насчет отца, но потом, проснувшись среди ночи, вспомнил их и уже не спал до утра, смотрел в окно, за которым все больше расползался над погасшей надписью про сберкассы и соседним, таким же семиэтажным, домом розовато-серый рассвет. Он никак не мог понять, ушел ли отец к шалаве или просто в семье не живет.

Утром, допивая какао с бежевыми морщинистыми пенками молока, он сказал, что хочет в лесную школу. На удивленный вопрос Сенина «зачем?!» ответил, что хочет вылечиться от туберкулеза, потому что от туберкулеза можно умереть, и что в лесной школе, он слышал от ребят, хорошо и даже есть кружок фотографии, в котором можно получить на время узкопленочную «Смену» и фотографировать что захочешь, а увеличитель тоже казенный.

И через два дня отчим сам отвез Сергея в лесную школу, ехали на электричке и автобусе.

С тех пор Сергей дома не жил.

В лесной школе он сначала действительно очень увлекался фотографией, но потом учитель физики и математических предметов Дмитрий Миронович заметил, что у Сергея Сенина большие способности к этим наукам, и стал с ним заниматься отдельно, после уроков, так что Сергею стало не до фотографии, да и интерес к ней ослабел. А вот решать задачи по алгебре, геометрии с тригонометрией и физике он очень полюбил, курс средней школы по всем этим дисциплинам прошел к седьмому классу и сосредоточился на русском языке и литературе, по которым еле вытягивал тройки ввиду абсолютного безразличия к тому и другому. Он никак не мог понять, почему надо писать слова совершенно по-иному, чем они звучат, и какой интерес в обычных и рифмованных рассказах о жизни никогда не существовавших людей, об охоте, балах — он не мог представить, что это такое — и всюду пролезавшей любви. Смысл ее был ему не ясен и никак не связывался ни с уходом Юрасова к шалаве, ни с отношениями между матерью

и Сениным и рождением брата Игоря, ни с тем, о чем мальчишки говорили после отбоя и чем занимались под одеялами и в туалете. Все эти вполне бытовые вещи Сергей принимал, как и прочие бытовые вещи — как суп из капусты и тощие биточки в столовой в сочетании с большими кусками положенного больным детям сливочного масла, как до этого жизнь в бараке и утренние очереди перед дворовыми сортирами... Это были неприятные, даже противные, но неизбежные части существования. Девочек он недолюбливал, чувствуя в них как раз большой интерес ко всей этой суете, которую они называли «глупостями», когда жаловались на обжимания мальчишек воспитательнице Зое Павловне. Про воспитательницу мальчишки во дворе нараспев читали стишок «Зоя, Зоя, кому давала стоя...», за что, после доносов девочек, подвергались самым суровым наказаниям...

В общем, все это было Сергею Сенину не только неинтересно, но, прямо скажем, отвратительно и напоминало о визге убиваемых юрасовских свиней. То ли дело квадратные и более высоких степеней уравнения и проекции геометрических тел на плоскость, то ли дело векторы сил или хотя бы законы сложения колебаний разной частоты — красиво, чисто, спокойно. И не имеет никакого отношения к редко и плохо мытым туалетам, к стихам про Зою, к Сенину, который сейчас, вероятно, спит с матерью, закинув руку за голову и открыв волосы под мышками.

Дмитрий Миронович удачно похлопотал, и Сергея — к этому времени на его рентгеновских снимках уже не было никаких затемнений — после седьмого класса взяли в специальную школу при том самом

знаменитом институте, где студенты были все математические гении, а преподавали сплошь академики. Институт этот располагался в том же ближнем пригороде, где в бараке прошло детство Сергея, там же было общежитие, в котором жили студенты, школьники и даже некоторые преподаватели, там поселили и Сергея Сенина. За три месяца он получил в этой школе аттестат — даже с четверками по русскому и литературе, преподаватели там по всем предметам были выдающиеся, умели натаскивать, если нужно, — и стал студентом.

Он уже несколько лет был круглым сиротой.

Обычно мать и Сенин приезжали к нему в лесную школу раз в неделю, но однажды, когда Сергей был в пятом классе, Сенин приехал один и сказал, что мать приболела. На следующей неделе не приехал никто, а Сенин позвонил по телефону директору, попросил в качестве исключения позвать ученика Сенина Сергея и сказал, что мать в больнице... Потом приехал через месяц, сказал, что мать еще в больнице и хочет видеть Сергея. Его отпустили из школы на два дня. Он стоял у материной кровати и с удивлением смотрел на худую как скелет старую женщину с желтой кожей, редкими, разбросанными по подушке волосами и обтянутым костяным лбом. Мать молча держала его за руку, а Сенин сидел рядом с матерью на краю кровати и тоже молчал.

После смерти матери Сенин приезжал сначала раз в месяц, потом все реже и со все более сильным запахом водки, а потом перестал приезжать вовсе. Сергея отпустили из школы одного — парень уже перешел в шестой класс, и он за полдня добрался до дому.

Дверь в квартиру была открыта, Сенин лежал на диване вниз лицом и спал, хотя была середина рабочего дня, а на кухне, пол которой был почти сплошь уставлен пустыми бутылками, толстая девушка в сатиновом рабочем халате кормила Игоря картошкой, пожаренной с колбасой, — внимательно смотрела, как мальчик ест. Она спросила: «Ты Сергей?» — и предложила: «Картошку будешь?» Сергей отрицательно покачал головой и молча вышел, захлопнув за собой входную дверь...

Через полгода Николай Иванович Сенин в пьяном виде замерз ночью у своего подъезда.

Словом, к тому времени, как Сергея Сенина, пятнадцати лет, приняли в знаменитый институт, родственников у него, кроме брата Игоря, неизвестно где находящегося с толстой девушкой и неизвестно, живого ли, не было. Брат Игорь считался пропавшим без вести — все родственники Сергея если не умирали вдруг, то пропадали без вести.

Как-то так получилось, что из Сенинской квартиры Сергея выписали. Он ведь был несовершеннолетним и в ней не жил...

А жил Сергей в общежитии на стипендию, которую платили всем студентам того института. Стипендия эта была вдвое больше обычной студенческой стипендии того времени, а за общежитие он вообще ничего не платил, как сирота. Так что Сергей ни в чем не нуждался. Товарищей, с которыми обычно все выпивают в студенческие годы, у него не было. В преферанс и даже в шахматы он не играл. И спортом занимался одиноким — бегом на длинные дистанции. Словом, был абсолютно отдельным ото всех и всего,

кроме сопротивления материалов и более общих дисциплин этой же группы вроде теории упругости и теории пластичности.

Не то что он специально сторонился товарищей — скорей они не особенно им интересовались. Среди студентов самого, вероятно, прославленного, хотя и секретного в те годы института было много ребят из семей ученых, причем ученых крупных, не в первом, как правило, поколении. Их способности и воспитание проявлялись не только в учебное время, но и в свободное, которого у Сергея просто не было — в свободное время он читал учебники и монографии и сдавал по две сессии, а то и по три за время одной. А они читали модные романы в популярных литературных журналах, сами сочиняли и пели песни под гитару, знали наизусть много стихов, в том числе и запрещенных, слушали по ночам иностранное радио, а утром рассказывали анекдоты. Сергей им был не только неинтересен, но и несимпатичен. Они будто чувствовали исходивший от него особый запах, запах барака, не выветрившийся с детства, хотя Сергей принимал душ два раза в день и никогда не рушился, как многие из них, спьяну в постель, не почистив зубы, — поскольку не бывал никогда пьян.

Да ведь и лет с барачных времен прошло сколько! И в квартире приличной он жил, и в лесной школе — правда, тоже несколько барачного духа...

Но прозвище заглазное у него было Гегемон, и он об этом знал и нисколько не расстраивался. Честно говоря, несмотря на успешно сданные экзамены по мировоззренческим предметам — истории КПСС, политэкономии капитализма и социализма, маркси-

стско-ленинской философии, он не особенно отчетливо представлял себе, что такое гегемон.

К восемнадцати годам, вместо обычных двадцати двух, он с красным дипломом — даже ненавидимый английский одолел! — окончил институт, был оставлен в должности ассистента на обожаемой кафедре сопротивления материалов, а в качестве одинокого преподавателя — в той же комнате общежития, только к нему перестали подселять соседей. Можно было предположить, что лет максимум через пятнадцать появится по крайней мере членкор по отделению технических или физико-математических наук Сергей Сенин, вернее, Сергей Кузнецов — как раз, преодолев все формальности, вернул он в это время себе фамилию по родному отцу, чем сильно удивил коллег...

Но тут с ним произошло нечто необъяснимое.

Или объяснимое — если вспомнить неясный намек на провал времени в его биографии, на каковой провал мы уже обращали внимание и обещали его растолковать. Не то он родился на шесть лет раньше, чем было зафиксировано соответствующим свидетельством и нашим рассказом, не то многие описываемые нами в настоящем времени события на самом деле произойдут в будущем... Второй вариант даже более вероятен, поскольку тут некоторые вещи случатся совершенно фантастические, и обстоятельства их будут нереальными — в будущем же все может состояться...

Впрочем, позже.

А сейчас о странностях ранней Кузнецова Сергея молодости.